

Н. В. Гоголь

Отрывки

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Н. В. Гоголь

Отрывки / Н. В. Гоголь – М.: Книга по Требованию, 2011. – 46 с.

ISBN 978-5-4241-2289-7

Николай Васильевич Гоголь - одна из самых загадочных фигур в русской культуре. Вся его жизнь была непрерывным подвигом восхождения к высотам творчества, оказавшего исключительно сильное воздействие на все последующее развитие как русской, так и мировой литературы.

ISBN 978-5-4241-2289-7

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Николай Васильевич Гоголь
ОТРЫВКИ

ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ МАЛОРОССИЙСКОЙ ПОВЕСТИ «СТРАШНЫЙ КАБАН»

I. УЧИТЕЛЬ

Прибытие нового лица в благословенные места голтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут, нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками. В шинке, по улицам, на мельнице, в винокурне только и речей было, что про приезжего учителя. Догадливые политики в серых кобеняках и свитах, пуская дым себе под нос с самым флегматическим видом, пытались определить влияние такого лица, которому судьба, казалось, при рождении указала высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян, которое живет в панских покоях и обедает за одним столом с обладательницею пятидесяти душ их селения. Поговаривали, что звания учителя для него мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет накинута и на хозяйственную систему; по крайней мере, уже, верно, не от другого кого-либо будет зависеть наряжение подвод, отпуск муки, сала и проч. Некоторые с значительным видом давали заметить, что едва ли и сам приказчик не будет теперь нулем. Один только мирошник, [Мельник. (Прим. Гоголя.)] Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить стоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрюк. А как почтеннейшие обительницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело, что находили кумушек, сцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливица, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья, как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу своего гнева, вместо чужого, колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, убоявшихся бездны премудрости, которыми ***ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Малороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. — Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и залетел бы не весть куда, вероятно, еще далее, если

бы не шалуны его товарищи, которые беспрестанно подсмеивались над усами и ключочью его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе — ему наконец не давали прохода: то бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки, так что Иван Осипович, наскуча быть безмолвным зрителем беспрестанно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться на вакансию [Эти слова в украинских семинариях значат; пойти в домашние учителя. (Прим. Гоголя.)]

Перемещение это сделало важную эпоху и перелом в его жизни. Беспрестанные насмешки и проказы шалунов заменило, наконец, какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения, когда он появлялся, бывало, в праздник в своем светлосинем сюртуке, — заметьте: в светлосинем сюртуке, это немаловажно. Долгом поставлю надомнить читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс почтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой бакши, [Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами и т. п. (Прим. Гоголя.)] так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребятишки. Не без удовольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: цыця, цыця! [Хорошо! Хорошо! (Прим. Гоголя.)] За столом приятно было видеть, как чинно, с каким умилением, почтенный наставник, завесившись салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики. Но всё это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолоудина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окрашивать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того, он собственноручно готовил лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внука Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже пряд.

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым чело-
веком в доме, если вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом, и цветом, совершенно походило на бутылку, что крупнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши,

по минуте строил гримасы приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и herba gabarbarum, в искусном разматывании мотков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился шегольской сюртук его и умение одеваться; впрочем, и она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или кушать. Маленького внука забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко, едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность, приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он Аз — ангел, архангел, Буки — бог, божество, богородица, — боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньютюрное отражение окружавшего его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как, верно, вы догадаетесь, была сама владелица поместья. В лице ее, тронутым резкою кистью, которою время с незапамятных времен расписывает род человеческий и которую, бог знает с каких пор, называют морщиною, в темнокофейном ее капоте, в чепчике (покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII-е столетие), в коричневом шушуне, в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями поэта, — тот период, когда воспоминание остается человеку, как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бывшие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Всё время от пяти часов утра до шести вечера, то есть, до времени успокоения, было непрерывною цепью занятий. До семи часов утра уже она обходила все хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчиком, накормить кур и доморожденных гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, завертывала в пекарню и сама даже пекла хлебы и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? — красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать, и это, как после увидел

он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосходной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред этим светилом так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз пронырливого наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначающий каждого, и тогда ему открывалось, словно в муравьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест и Пилад нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистра над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его местопребывания. Скоро осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сарай, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо-разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутаные темнозелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листам ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедевов, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украина. Отсюда продирались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом, окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было простительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик и, несмотря на то, что не дошел еще до философии, он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo, любви не существует. Такие положения, обра-

тившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды... Ното рронит, deus disponit говаривал часто лектор ***ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателем; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествовавший стезею своих великих наставников и бывший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.

II. УСПЕХ ПОСОЛЬСТВА

(Кухмистер, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную им при виде мывшейся на берегу пруда Катерины, решает исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потялицы).

Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. «Эх, если бы не учитель!» повторял он несколько раз сам себе: «ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосный лай прорезал облегавшую его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее итти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилося всё недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце в нем вспрыгнуло... и белокурая красавица, разгоняя хворостиной докучных собак, встретила его, отворяя ворота.

Двор Харька представлял собою большой, на покатоги к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были открыты, глаза ударялись прямо в чисто выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовою дверью, с низеньким из глины фундаментом (присьбою), обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся огород козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без всякого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполтину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью: «Батька нет дома, да вряд ли и к вечеру будет».

«Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввиреться! Что бы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?»

Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.

Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул

отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал: «Нелегкая понесла бы меня к батьке, когда есть такая хорошенькая дочка».

«А, вот что!» проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. «Милости просим!» и пошла вперед его к дверям хаты.

Девушки в Малороссии имеют гораздо более свободы, нежели где-либо, и потому не должно показаться удивительным, что красавица наша, без ведома отца, принимала у себя гостя. «Ты пешком сюда пришел, Онисько?» спросила она его, садясь на присьбе у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.

«Как пешком? — Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее?» подумал кухмистер. — «Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Чорт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского гнедого, чтобы только перетащиться из одного двора в другой.»

«Однакож от кухни до коморы не так-то далеко.»

Тут, не удержавшись более, она захохотала.

«Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!» повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к чорту, позабыв и приятнь, и дружбу их.

«Однакож, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорели на сковороде караси с свежепросольными опенками, лишь бы только ты еще раз этак засмеялась.»

Сказав это, кухмистер не утерпел, чтоб не обнять ее.

«Вот этого-то я уж и не люблю!» вскрикнула, покраснев, Катерина и приняв на себя сердитый вид. «Ей-богу, Онисько, если ты в другой раз это сделаешь, то я прямехонько пушу тебе в голову вот этот горшок.»

При сем слове сердитое личико немного прояснело, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по нем, выговорила ясно: «я не в состоянии буду этого сделать.»

«Полно же, полно! не возом зацепил тебя. Есть из чего сердиться! как будто, бог знает, какая беда — обнять красную девушку.»

«Смотри, Онисько: я не сержусь», сказала она, садясь немного от него подальше и приняв снова веселый вид. «Да что ты, слышалось мне, упомянул про учителя?»

Тут лицо кухмистера сделало самую жалкую мину и, по крайней мере, на вершок вытянулось длиннее обыкновенного. «Учитель... Иван Осипович, то есть... Тьфу, дьявольщина! у меня, как будто после запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта. Учитель... вот что я тебе скажу, сердце! Иван Осипович вклепался [То есть, влюбился. (Прим. Гоголя.)] в тебя так, что... ну, словом — рассказать нельзя. Кручинится да горюет, как покойная бурая, которую пани купила у жида и которая околела после запала. Что делать? сжалился над бедным человеком: пришел наудачу похлопотать за него.»

«Хорошую же ты выбрал себе должность!» прервала Катерина с некоторою досадой. «Разве ты ему сват, или родич какой? Я советовала бы тебе еще набрать изо всего околотка бродяг к себе в кухню, а самому отправиться по-миру выпрашивать под окнами для них милостины.»

«Да это всё так; однакож я знаю, что тебе любо, и слишком любо, что вздумалось учителю приволокнуться...»

«Мне любо? Слушай, Онисько, если ты говоришь с тем, чтобы посмеяться надо мною, то с этого мало тебе прибудет. Стыдно тебе же, что ты обносишь бедную девушку! Если же вправду так думаешь, то ты, верно, уже наиглупейший изо всего села. Слава богу, я еще не ослепла; слава богу, я еще при своем уме... Но ты не сдуру это сказал: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, верно, ду- мал... Нет, ты недобрый человек!»

Сказав это, она отерла шитым рукавом своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардевшейся щечке, будто падающая звезда по теплomu вечернему небу.

«Чорт поberi всех на свете учителей!» думал про себя Онисько, глядя на зардевшееся личико Катерины, на котором попрежнему показавшаяся улыбка долго спорила с неприятным чувством и, наконец, рассеяла его.

«Убей меня гром на этом самом месте!» вскричал он наконец, не могли преодолеть внутреннего волнения и обхватывая одной рукою кругленький стан ее: «если я не так же рад тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, как старый Бровко, когда я вынесу ему помой.»

«Нашел, чему радоваться! поэтому ты станешь еще более скалить зубы, когда услышишь, что почти все девушки нашего села говорят то же.»

«Нет, Катерина, этого не говори. Девушки-то любят его. Намедни шли мы с ним через село, так то и дело, что выглядывают из-за плетня, словно лягушки из болота. Глянь направо — так и пропала, а с левой стороны выглядывает другая. Только дьявол поberi их вместе с учителем. Я бы отдал штоф лучшей третьепробной водки, чтоб узнать от тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?»

«Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастливая доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут... Нет, нет, нет! Пусть бог милует! Дрожь обдаёт меня при одной мысли об этом...»

Тут прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Как осужденный, с поникнутою головою, погрузился кухмистер в свое протекшее. Тяжелые думы, порождения тайного угрызения сердечного, вырезывались на лице его и показывали ясно, что на душе у него не слишком было радостно. Пронзительный взор Катерины, казалось, прожигал его внутренность и подымал наружу все разгульные поступки, проходившие перед ним длиною, почти бесконечною цепью.

«В самом деле, на что я похож? кому угодно житье мое? только что досаждаю пани. Что я сделал до сих пор такого, за что бы сказал мне спасибо добрый человек? Всё гулял, да гулял. Да гулял ли когда-нибудь так, чтобы и на душе, и на сердце было весело? Напешься, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже. Нет! прах возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философские рассуждения с самим собою, и потому, положив на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса: «Не правда ли, Онисько, ты не станешь более пить?»

«Не стану, мое серденько! не стану; пусть ему всякая всячина! Всё для тебя готов сделать.»

Девушка посмотрела на него умилно, и восхищенный кухмистер бросился

обнимать ее, осыпая градом поцелуев, какими давно не оглашался мирный и спокойный огород Харька.

Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный голос страшнее грома поразил слух разнежившихся. Подняв глаза, кухмистер с ужасом увидел стоявшую на плетне Симонику.

«Славно! славно! Ай да ребята! У нас по селу еще и не знают, как парни целуются с девками, когда батька нет дома! Славно! Ай да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжет поговорка: в тихом омуте черти водятся. Так вот что делается! так вот какие шашни!..»

Со слезами на глазах принуждена была красавица уйти в хату, зная, что ничем иным нельзя было избавиться от ядовитых речей содержательницы шинка.

«Типун бы тебе под язык, старая ведьма!» проговорил кухмистер: «тебе какое дело?»

«Мне какое дело?» продолжала неутомимая шинкарка: «вот прекрасно! Парни изволят лазить через плетни в чужие огороды, девки подманивают к себе молодцов, — и мне нет дела! Изволят женихаться, целуются, — и мне нет дела! Ты слышал ли, Карпо?» вскричала она, быстро оборотясь к мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что внимания, шел, помахивая батогом, впереди так же медленно выступавшей коровы: «слышал ли ты? постой на минуточку. Тут такая история. Харькова дочка...»

«Тьфу, дьявол!» вскричал кухмистер, плюнув в сторону и потеряв последнее терпение. «Сам сатана перерядился в эту бабу. Постой, Яга! разве не найду уже, чем отплатить тебе.»

Тут кухмистер наш занес ногу на плетень и в одно мгновение очутился в панском саду.

Было уже не рано, когда он пришел на кухню и принялся стряпать ужин. Евдоха, однакож, не могла не заметить во всем необыкновенной его рассеянности. Часто задумчивый кухмистер подливал уксусу в сметанную кашу или с важным видом надвигал свою шапку на вертел и хотел жарить ее вместо курицы. За ужином Анна Ивановна никак не могла понять, отчего каша была кисла до невероятности, а соус так пересолен, что не было никакой возможности взять в рот. Единственно только из уважения к понесенным им в тот день трудам оставили его в покое: в другое время это не прошло бы даром нашему герою.

«Нет, господин учитель!» твердил он, ложась на свою деревянную лавку и подмачивая под голову свою куртку: «не видать вам Катерины, как ушей своих!» И, завернув голову, как доморощенный гусь, погрузился в мечты, а с ними и в сон.